

Дмитрий Константинов

Недосказанность



Дмитрий Константинов

Недосказанность

<https://litres.ru/74687294>

SelfPub; 2026

Аннотация

Отставной полковник Виктор Стрельцов, прослужив 30 лет в органах госбезопасности, уезжает в тайгу, чтобы переосмыслить свою жизнь. В уединении он начинает вести дневник для сына, признаваясь в своих ошибках: пропущенных детских праздниках, неслышанной музыке жены, постоянном отсутствии в жизни семьи.

Через работу с дровами, общение с отшельником Матвеем и внутренние монологи герой учится быть человеком, а не винтиком системы. Он переосмысливает свою службу, где вместо живых людей видел лишь графы отчётов, а вместо семейного счастья — служебный долг.

В центре повествования — тема искупления вины перед близкими и поиска себя вне служебной роли. Автор раскрывает глубокий внутренний конфликт между профессиональным долгом и человечностью, между карьерой и семьёй.

Это пронзительная история о том, как человек на пороге старости пытается исправить ошибки прошлого, научиться жить настоящим и найти прощение — сначала у себя, а потом у близких.

Содержание

Глава первая. Первый вечер	4
Глава вторая. Река	9
Глава третья. Чужой след	14
Глава четвёртая. Чай на двоих	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Дмитрий Константинов

Недосказанность

Глава первая. Первый вечер

Дрова я колол до темноты. Это не наука, но руки помнят только то, что им показывают руками, а я не колол дрова сорок лет — с детства, у деда, в Козельске. Тогда это было нечто само собой разумеющееся: раз зимой живёшь — дровосек. Потом были другие слова. Дежурство, командировка, объект, допустимая нагрузка. Целый язык для того, чтобы ни о чём не думать прямо. Дед говорил: колоть надо под замах, вдоль волокна, а не в сучок. Я вспомнил это в тайге, у поваленной берёзы, и впервые за много лет не поучал себя, а просто делал.

Дом я купил прошлой осенью. Ключи сдал мне короткорукий мужик, который больше ничего не сказал и не спросил, — за что я ему был почти благодарен. В Москве, когда уходил из отдела, мне кричали в спину речи о службе и долге, пели про сохранность бумаг. Здесь мне просто дали ключи и уехали. Милосердие бывает иногда в такой форме.

Камин я топил трижды за день. Не потому что мерзну — я хорошо мерзну, я это делал всей службой, в командировках, где спал в машине. Просто огонь смотрит на тебя, и от

этого нельзя отвернуться. Наливаю виски — третью рюмку за вечер, и это уже не привычка, а распорядок. Раньше был распорядок отчётов, раз в пятницу. Теперь распорядок виски. Честно скажу: виски хуже. Отчёт имел адресата. Виски имеет только дно.

Сегодня читал «Даму с собачкой». В шестидесятые я читал Чехова для полусна, как читают газету, которую знают заранее. Сейчас дочитал до слов про то, что муж считал правильным по-своему, и закрыл книгу на минуту. Правильный по-своему. Так бы и сказал про себя: правильный по-своему. Двадцать лет говорил жене: я зарабатываю, я вас обеспечиваю, я беру на себя трудное. Всё это правда. Но правда, из которой вырезан один кусок: я не был там. Она играла ноктюрн, я не слышал. Она болела в девяностом, я летел в Ташкент. Она умерла во вторник, я прибыл в пятницу, уже не к живой, а к венкам. И все эти годы я был уверен, что честен, потому что не воровал, не пил, не заводил вторых семей. Честность бывает ниже воровства. Есть куда ниже.

Виски — шотландский, с содовой. Напиваться в одиночестве — занятие для дураков, и я знаю это лучше многих, потому что среди моих подопечных дураки-одиночки занимали длинную строку в графе признаков. И вот я сидел на вечерах и со страху узнавал их признаки в себе. Тогда ставь бокал — говорю я себе. Не ставлю. Двумя рюмками легче разговаривать с книгой, а без разговоров в этом доме вечер как подвал.

Многое я выговариваю не вслух. Утром записываю в тетрадь — для сына. Это была моя затея: пусть Андрей и Наташа узнают, кем я был, с бумаги, пока я жив, а не из разговоров на поминках, где обо мне скажут «служил, много сделал», и это будет простыня без лица. Вот что я успел записать сегодня утром.

Андрюша, сын мой. Ты просил когда-нибудь в детстве, чтобы я пришёл к тебе на утренник. Я не пришёл. Не помню причины — то есть причины, конечно, были, как всегда: доклад, сроки, выезд. Но могу сказать теперь честно, как не умел тогда: причины были вторичные. Первичен был страх. Я имел дело со страхом по работе и умел им управлять в чужих людях. А свой страх — что я буду смешон, мягок, отцовски беспомощен среди твоих семилетних товарищей и их матерей — свой страх я не умел никуда определить. Он был не в номенклатуре. И я остался на работе. Ты ждал у окна, у вас окна во двор, ты смотрел на ворота. Я это узнал позже, от Иры, и разозлился на неё, вместо того чтобы разозлиться на себя. В этом и есть главная ошибка, из которой я не имею права тебя оградить: всю жизнь я расставлял ответственность по полкам, как документы, и в каждом деле находил ту, которой не я. Эту тетрадь я пишу не для оправдания. Оправдания требуют, когда продолжают жить среди людей. Мне уже требуется только точность.

Точность. Я записал это слово и полчаса смотрел на него. Полковник Стрельцов, имевший в своей практике множе-

ство категорий людей, внезапно встретил одного, который был не категория, а человек, — и это я сам, шестьдесят восемь лет, в свитере, купленном для дачи, который не влезает в городскую одежду. Странно: в городе я свитер не носил никогда. Здесь он на мне третий месяц. Тела тоже приходится переписывать заново.

За окном начинался снег. Он падает в тайге беззвучно, как падающий — впрочем, я выучил это слово в девятнадцатом году и забыл в двадцать первом, и зря, потому что язык я знал в совершенстве, а в совершенстве я не знал даже того, что живу в собственной квартире. Снег падал на ели, и ели не вздрагивали. Я смотрел на это, пока не надоел себе, и заметил, что считал — не чёрточки и не время, а слева направо, как в то время. Моя рука сама тянулась с бокалом к столу, ровно, не расплёскивая. Так я таскал папки. Так я пил на одномадамных приёмах. Так я жил.

Вечером, перед тем как гасить камень в печи, я снова достал тетрадь и дописал одну фразу — не утром, а здесь, при огне. Напишу её и вам, потому что она, кажется, единственное зерно первого дня, всё прочее — лес:

Ошибку нельзя переписать, сынок. Её можно только переписать так, чтобы она стала неправдой, — а это и есть предательство по отношению к самому себе. Я буду писать правду. Посмотрим, хватит ли меня на тетрадь.

Лог огонь съел до углей, и в комнате стало видно звёзды в окно. Я не пою, я не крестился, я не молюсь — но я ска-

зал вслух «спасибо» — не кому-нибудь, а просто в комнату, как говорят «есть» по телефону. Дед говорил, что тайга всех выучит. Тайга этого в отношении меня, по-моему, не собиралась, но я всё-таки остался ночевать в этой комнате, с этой тетрадью и с этим не умением ложиться спать раньше четырёх.

Утром я иду к реке. Решил уже сегодня, пока пил третью рюмку: буду ходить к реке каждый день. Не за рыбой. За тем, чтобы тайга и я знали друг друга в лицо. Как в старые времена знали друг друга по отделу — только там знание было кратким, до первого рапорта, а здесь оно, кажется, рассчитано на годы, и от него не спишешься и не уйдёшь.

Глава вторая. Река

К реке я вышел в девять утра, по колено в свежем снегу. Дороги здесь нет, есть накатанная лыжня — не моя, чья-то. Я шёл и думал о том, что сорок лет меня везли машины, а теперь я иду пешком, и скорость моя — четыре километра в час, как у того, кто несёт ведро. Странно: в службе я презирал медлительность, считал её непрофессионализмом. А медлительность — это ведь просто честность по отношению к расстоянию.

Река была черная, дымная, только у берегов стыла в ледяную кайму. Я постоял, послушал. Вода подо льдом идёт и идёт — шумит где-то внизу, под коркой, как разговор за стеной в чужой квартире. Я стоял минут двадцать и ни о чём не думал. Это редкое состояние. Обычно во мне совещание: три голоса докладывают, один председательствует, все недовольны. У реки совещание отменили. Не потому что здесь тихо — в тайге слышно всё: и ворону, и ветер в ели, и хруст. Просто звуки здесь не адресованы мне. В городе каждый звук был чьим-то сигналом: звонок, пейджер, шаги за спиной. Я двадцать лет просыпался от звука и засыпал с готовностью к звуку. Здесь звук можно просто пропустить мимо, и он не обидится.

На обратном пути я заметил дым. Верхушка трубы — тонкий столб над лесом, километрах в шести, там, где, по сло-

вам продавца дома, стоит избушка охотника. Я долго смотрел на этот дым. Так смотрят на чужое окно из своего — не с интересом даже, а с проверкой: мир ещё населен? Всё-таки сидеть в тайге и знать, что где-то есть живой человек, — это не то же самое, что сидеть и знать, что никого нет. Разница почти незримая, но она держит. Я не пошёл знакомиться. Не сегодня. Но запомнил направление и вышел из дома с ружьём — без надобности, просто по привычке выходить вооружённым. Привычки службы, как старые шрамы, болят к погоде.

Дома затопил печь, сварил гречневую кашу с салом — дедовский обед, из Козельска. Готовлю я плохо, и это подмечаю с усмешкой: человек, умевший составить заключение на четырнадцати страницах без единой помарки, не может сварить суп, чтобы он не был пересолён. Но помарки в бумагах были страшны, а пересолённый суп — нет. Отсюда, если подумать, следует кое-что неутешительное о том, как я расставлял ценности. Следствие это я записывать не стал. Не всё, что дошло до себя, надо немедленно класть на бумагу: бумага имеет свойство потом читаться.

Ира готовила великолепно. Я помню — не вкус, а звуки: как она стучит ножом по доске, как поёт на кухне, тихо, себе, вполголоса, и как я сидел в кабинете и терпел это пение, потому что оно мешало мне сосредоточиться на бумагах, которые решали судьбу неизвестных мне людей, и не мешало ничему более важному. Боже, как дёшево я это тогда оценил.

Пение жены на кухне — а я добивался тишины. Теперь я бы отдал год службы за минуту этого пения, и я говорю это не как фигура речи, а как человек, знающий цену вещи постфактум. Постфактум — это вообще моё единственное время. Всё моё знание — задним числом.

Вечером открыл «Смерть Ивана Ильича». Читал в молодости, на скорости, как положено по программе. Сейчас дошёл до того места, где Иван Ильич понимает, что жизнь его была не та, и что «может быть, совсем не то». Я закрыл книгу и просидел час, не двигаясь. Печка потрескивала, снег за окном скрипел под чьими-то лапами — то ли заяц, то ли ёж, не разобрать. Иван Ильич умирал три дня и успел всё понять. Мне отмерено, вероятно, больше трёх дней. Вопрос — успею ли я больше. Потому что умирать я умею лучше, чем жить: служба была сплошной школой умирания — по бумагам, по отчётам, по присяге. А жить никто не учил, и я не стал учиться сам, нашёл себе оправдание: время. У меня, дескать, не было времени. Время было. Не было воли его тратить на то, что не даёт чина.

Тетрадь сегодня не пошла. Точнее — пошла, но не туда. Я написал полстраницы о том, как вступал на службу, и услышал в собственном тексте голос лектора на идеологической подготовке. Стёр — впервые в жизни стирая написанное, кстати: в службе я ни одной фразы за сорок лет не взял назад. Начал снова — с того, как познакомился с Ирой. Она играла в Доме культуры на выпускном вечере, «Лунную со-

нату», и фальшивила в одном месте, и покраснела, и я, двадцатитрёхлетний, стоял у стены с лимонадом и думал: вот её надо спасать. Смешное слово — спасать. Спасать человека, который умел играть на рояле, от фальшивой ноты. Через год я на ней женился, и вся моя дальнейшая жизнь прошла под этим словом — спасать, — только спасать я пытался уже не её, а себя, и от совсем другой ноты.

Андрюша. Сегодня мне открылась простая вещь: я не могу писать о службе, не солгав, пока не напишу о твоей матери. Все дороги в этой тетради ведут к ней. Она была центром тяжести, а я относился к ней как к тёплому гардеробу: приходишь с холода — там тепло, висит всё готовое. Гардероб не спрашивают, холодно ли ему было, пока ты был в отъезде. Прости меня за эту страницу, она написана не для тебя, это я пишу её для себя — но ты прочтёшь, и пусть прочтёшь.

Ужинал кашей, вторым заходом, глядя в окно на дым с той стороны леса. Дым поднимался ровно, кто-то топил печь и жил свою жизнь в шести километрах от меня, и я вдруг почувствовал к этому дыму что-то вроде зависти: у него есть хозяин, а у моего молчания нет.

Завтра схожу на дальний увал, посмотрю, что там за тропы. Не ради знакомства — ради правды местности. Хотя скажу честно, раз уж взялся за точность: пойду, потому что человек, шестнадцать лет читавший чужие почерки и чужие следы, не может равнодушно пройти мимо следа на снегу,

даже когда след кончается у порога чужой избушки. Посмотрим, чей это будет порог. Пока — гашу огонь. За окном лают где-то лисы, река шумит подо льдом, и я в первый раз за много лет ложусь спать без докладов на утро. Есть только река, дым за лесом и тетрадь, которая пока ведёт счёт не дням, а недосказанному.

Глава третья. Чужой след

На увал я пошёл после завтрака, пока солнце стояло низко и снег держал ногу. Взял с собой не ружьё, а ведро — соврал сам себе, что иду за водой из проруби, хотя вёдра у меня три и вода в доме есть. Ружьё всё-таки взял. Привычка — вторая совесть, но совестью её называть слишком лестно: привычка ничего не весит и ничего не стоит, пока однажды не окажется, что она решала за тебя.

След я увидел на границе моего участка — чужой. Лыжня старая, недельной давности, но возле сторожки, что стоит на перелеске, снег был протоптан веником и присыпан золой. Так делают те, кто живёт при дороге и не хочет следов: выметает, да ещё и золой присыплет, чтобы ветер разнёс. В моё время за такое присыпание люди получали сроки — теперь это называется просто осторожность, и я поймал себя на уважении: человек знает своё дело.

Сторожку я обошёл стороной, метров за двести. Внутри топилась печь, из трубы вёл дым — не ленивый, дачный, а ровный, хозяйский, утренний. У крыльца висела растяжка из говна на палке — против волков, старый приём, дедовский. Я стоял среди елей, как стоял когда-то в чужих городах, и чувствовал то же самое, что тогда: я здесь раньше, чем меня заметили, и потому хозяин этой земли — я. Глупость. Хозяин этой земли — он, а я гость, приехавший за тишиной, как

приезжают за солью. Я повернул и пошёл назад, и с полдороги услышал, что печь в сторожке затихла. Он заметил. Не видел — но учуял, так учуяли в старину, когда ещё не было приборов. К сведению: оба мы, старые, живём по старым законам, и это, пожалуй, единственный язык, на котором мы заговорим, если заговорим.

Дома я долго не мог сесть за тетрадь. Всё думал об этом человеке. Шесть километров — расстояние дурное: ни чтобы ходить в гости, ни чтобы забыть, что он есть. Знаете, как в жизни отдела было с соседями по конспиративной квартире: близко, чтобы слышать, далеко, чтобы не знать. Тайга расставила нас по этой же схеме, и я, кажись, понял зачем. Ей нужен был не сосед мне. Ей нужен свидетель. Тот, кто увидит, как я выхожу к реке, как колю дрова, как живу, — и никому ничего не скажет. Раньше за мной следили люди. Теперь за мной следит бывший зэк с веником у порога, и след этот — первый в моей жизни, от которого не надо прятаться.

Открыл письма. Я привёз с собой коробку — Ирину переписку со мной, за тридцать лет, и её письма к детям. Читал после обеда два часа. Вот что пишут женщины, когда муж не слушает: они пишут ему всё. Я нашёл письмо от восьмидесяти девятого года, я был тогда в Куйбышеве, три недели, и она писала мне через день. «Витя, Наташка одна не спит, я сижу у её кровати, она спрашивает, твой ли ты нам или службе. Что ей ответить? Ты не ответил на прошлое письмо, отвечай на это». Я помню, что ответил. Я помнил дату ответа,

номер отправки, я помнил всё, кроме содержания. Содержания я не помнил вовсе. Я написал ей тогда что-то казённое, я знаю это по почерку — почерк у меня в казённых письмах один, в домашних другой, и вот по почерку я теперь читаю свою биографию: где я был дома, а где на службе. Дома — торопливо, с кляксами. На службе — выученным красивым шрифтом. Тридцать лет красивых писем чужим людям и торопливых клякс своим.

Вечером читал Гоголя, «Шинель». В юности смеялся — осовремененный Акакий Акакиевич казался мне пройдохой, недотёпой, которых вокруг полно. Сейчас я дочитал до конца и не смог встать. Человек служил переписыванием и умер, когда у него отняли то единственное, что он умел любить. А я? Я служил, слушал — нет, скажу прямо: я служил слушанием чужих слов, и это тоже было переписывание, только живых людей в графы. И у меня никто не отнимал любимое. Я сам отдал сам. Своими руками, по описи, с подписью. Гоголевский Акакий хоть кричал «оставьте меня» — пусть раз в жизни, пусть беспомощно, но кричал. Я не кричал ни разу. Я отдавал вежливо.

Виски я сегодня не пил. Поставил бокал в шкаф — пусть стоит. Не из подвига, объясню честно: после писем пить не хотелось, хотелось тянуть. Как тянут рану — не чтобы стало больно, а чтобы проверить, заживает ли.

Андрюша. Сегодня я читал письма твоей матери. Ты узнаешь из них то, чего я тебе не сказал никогда: что она

в последние годы писала мне каждый день, а я ей — по средам и по поручениям. Не думай, что я спохватился только в тайге. Я спохватился в сорок два года, у неё за спиной, и ничего не сделал, потому что спохватившийся человек считает, что уже совершил поступок. Это не так. Поступок — это когда меняешь расписание. Я не поменял ни одного пункта своего расписания за всю жизнь. Она поменяла весь свой — под меня. Запиши это, сынок, и не повторяй: расписание важнее чувств — это болезнь. Она лечится только вдовством, потомкам не передаётся.

За окном луна. Снег в лунном свете синий, как сталь наганом — вот тебе и ассоциация на семьдесят восьмом году жизни, старая масть не выводится. Завтра, кажется, я всё-таки пойду к нему. К соседу. Возьму банку тушёнки и пачку чая — по-русски, без предисловий. Если не откроет — оставлю на крыльце и уйду. Человек, живущий при золе, поймёт язык подарка без слов. А если откроет — что я скажу? «Здравствуйте, я Виктор, живу там, у реки, служил тридцать лет в органах и приехал доживать». Скажу так. Точность, в конце концов, — то, ради чего я сюда и приехал. Посмотрим, выдержит ли она вторую встречу.

Глава четвёртая. Чай на двоих

К сторожке я вышел в полдень, когда солнце стояло высоко и на снегу делалось светло, как в операционной. В рюкзаке — тушёнка, чай, три яйца в платке. Всю дорогу я подбирал, как поздороваюсь, и остановился на простейшем: «Здорово, если жив». Так дед здоровался с любым, даже с незнакомым, и в этом было что-то от старой эпохи, когда люди делились на своих и неопределённых, а не на своих и чужих.

Подошёл к крыльцу — во второй раз за два дня, и во второй раз подумал, что так не ходят в гости, так ходят по делам. У порога я остановился и сделал единственное правильное, что мог придумать: снял шапку и стоял молча. Пусть хозяин решает. Через минуту дверь открылась без скрипа — дверь чистая, смазанная, как у человека, который следит за своим имуществом. В проёме стоял старик. Невысокий, сухой, с лицом неопределённого возраста: таких на зоне звали «непримечённый». Посмотрел на меня, на рюкзак, на снятую шапку.

— Ты что, заблудился? — спросил он.

— Нет. Я у реки, там, где старый дом лесника. Виктор Стрельцов.

Он промолчал с полминуты. Я научился в жизни читать паузы — это единственный дар, который мне дала служба безвозмездно, и в паузе этой я услышал не враждебность. Я

услышал взвешивание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.